

Труд. - 1989. - 31 авг.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И РОССИЯ

К 90-летию со дня рождения писателя

Откроем любую страницу прозы Андрея Платонова — и, свикнувшись с ним, с единственным в своем роде строем его речи, мы скоро начинаем узнавать что-то очень нам знакомое — со стеснением, ужасом, горечью, скорбью, печалью. «Как только Прокофий начинал наизусть сообщать сочинение Маркса, чтобы доказать поступательную медленность революции и долгий покой Советской власти, Челурный чуточку худел от внимания и с корнем отвергал рассрочку коммунизма. <...> Однако и целый отряд большевиков не мог управиться с остаточными капиталистами в двадцать четыре часа. Некоторые капиталисты просили, чтобы их наняла Советская власть себе в батраки — без пайка и без жалованья, а другие умоляли позволить им жить в прошлых хремах и хотя бы издали почувствовать Советской власти».

— Нет и нет, — отвергал Пиюся, — вы теперь не люди, и природа вся переменялась...

Многие полубуржуи плакали на полу, прощаясь со своими предметами и останками. <...> Пиюся не давал заставившись горю полубуржуев на одном месте: он выкидывал узлы с нормой первой необходимости на улицу, а затем хватал поперек тоскующих людей с равнодушным мастером, бракующего человечество...» («Чевенгур», 1926—1929).

Вот одни люди загоняют других в колхоз, и крестьянин, прощаясь со своей лошадей, чувствует предсмертную тоску. Идет «ликвидация кулачества как класса», и одним дорожка в колхоз, а другим — на плоту по реке, к неведомой гибели (как, если верить преданиям языческой славянской древности, отправляли «на тот свет» немощных стариков, привязав к саночкам и спустив в овраг). В последнюю ночь люди доводят свою скотину — «есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления». Идут последние часы перед выбором, решающим жизнь, — хотя выбора-то и не оставлено.

«Ну что же! — тергелизо сказал активист сверху. — Или вы тек и будете стоять между капитализмом и коммунизмом: ведь уж пора тронуться — у нас в районе четырнадцатый пленум идет!»

Самое сопоставление никому не ведомого «племени» с движением живой человеческой жизни звучит под пером Платонова дико, перо его производит нужный писателю скрежещающий звук — чтобы впоследствии уступить свое место на долгие десятилетия перьям, не запинавшимся на вторгшихся в человеческую жизнь слова. «Дозволь, товарищ активист, еще малость средноте постоять, — попросили задние мужики, — может, мы обвыкнемся: нам главное дело привычка, а то мы все стершим». Но недолго, недолго стоять «средноте» — надо быстро привыкать к новой жизни или погибать.

«Готовы, что ли?» — спросил активист.

— Подожди, — сказал Чиклин активисту. — Пусть они попрощаются до будущей жизни.

...Мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним.

— Прощай, Егор Семенович!

— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.

Каждый начал целоваться со всей очередью людей <...>

— Прощай, тетя Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.

...Ну, давай, Степан, побратаемся.

— Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по совести.

После целования люди поклонились в землю — каждый в нем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.

— Теперь мы, товарищ активист, готовы, пиши нас всех в одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем» («Котлован», 1929—1930).

Ужасно — но в то же время вроде бы и смешно. Но это какая-то судорога смеха — горький, гоголевский смех. Вот уж поистине — над кем смеется?.. Над собой, над собой.

Чудовищный образ распающегося крестьянского хозяйства, новая жизнь как синоним смерти (угаданный Платоновым, быть может, острее всех). И младенческий лепет — усвоение новых, неестественных представлений, нового, уродливого слова о мире: «Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь? — говорила Настя... — Умирать должны одни кулаки...» («Котлован»).

Слишком податливый, слишком готовый и гнуться и ломаться язык, и слишком незащищенное перед заражительностью рассекающих живую жизнь лозунгов сознание — вот что передает нам каждая страничка своей прозы Платонов. Никто так, как он, не показал этого рассеяния, этого вдвижения догматической идеологии в кровотокающую плоть, этого страшного симбиоза — соединения российской адаптации марксизма с особой «идеальностью» русского народного сознания, готовностью к мечте о земном рае, о молочных реках и кисельных берегах. Заразительность лозунгов для тех, кто их берет за реальность, — и подавляющая, неукошительная сила этих лозунгов для тех, кто оказывается их жертвой. Безвольная равная готовность к насилию над собою и над другими. Вот что не могут в нас постигнуть люди иных земель. Совсем недавно в телевизионной передаче потомок А. Герцена, американец Майкл Герцен, стремящийся вести торговые дела с нашей страной, отвечал на вопрос — почему другие бизнесмены не торопятся следовать его примеру: «...Если ответить коротко — это ваша история. ...Если одним словом — Сталин. Мы не можем понять — как вы могли позволить все это!..»

Об этом и пишет Платонов, об этом неустанно размышляет. Самое страшное, безысходное переживание — новинки есть, но оправдания самому себе все еще нет. Кто бы ни подавал сигнал к началу чудовищного действия разрушения «мира насилия», откликнулись на призыв, пошли на разрушение сотни тысяч, миллионы... И ведь только мы одни двинулись тогда в эту сторону так решительно — а призрак бродил, как известно, по всей Европе. И вскоре же последовали массовые высылки и убийства принялись — так или иначе — за продолжение постройки никем не виданного, но, наверно, хорошего общества...

Мы ищем сегодня ответы на этот вопрос — читая Платонова, размышляя над своим житейским и общим отечественным историческим опытом — в меру расширяющегося, но все еще очень неполного о нем знания. В русло этих



На снимке: Андрей Платонов с дочерью.

размышлений введу примеры — не из литературы. Но «из жизни». Поэтесса и живописец М. Б. Вериге приводит в своих воспоминаниях рассказ случайного собеседника о том, как он «страха лишился». Это в двадцатом году было, в Томске или в Тайге, сошел я с поезда ночью, стал пробираться к вокзалу, чтоб в помещенье согреться. Освещения нет, ну, ощупью иду вдоль поленицы и пальцы зазялил в сучки. Тут кто-то фонариком осветил, и вижу: это же не дрова, а покойники сложены... И я, значит, рукою кому-то в рот угодил... Навалено их там было видимо-невидимо. Ну как о них, знаете, думать и волноваться? Это одного можно очень жалеть, а если их сотни? На всех жаленья не хватит. Тут уж другой получается смысл. Попробуй, пожалеешь такую ораву? Это же как мощь кара. Вот я о себе, как о мышке, подумал, без сочувствия; муторно стало, но только без страха.

И пример второй. В начале восьмидесятых я уезжала с европейского симпозиума. В аэропорт меня вез француз; он сказал горестно: «Подумать только — в Ливане погибло уже 14 французских!» И я едва не вскрикнула. Отчего? Да, мне было жаль тех людей, но много острее, не скрою, было чувство сострадания к своим соотечественникам. Лишь за историю этого века их «навалено... видимо-невидимо...»

Вот об этом-то и пишет Платонов. Видим ли мы его героев в лицо — так, как видим героев Льва Толстого или Михаила Булгакова? Нет, никогда. Но жалко каждого.

Легко, естественно-покорно, растается душа с телом у героев Платонова. Как-то некрепко привязаны к жизни русские люди, вроде бы и не очень дорожат ею. Один автор, кажется, в недрах его сочинений жалеет, жалеет всех, скорбит о всех, плачет о своей стране, мучительно размышляет. Когда мы сумеем жалеть каждого погибшего и погибающего, когда отвратимся с ужасом от своей дикой уверенности, что все можно сделать одним махом — приказом, танками, любимым массивным насилием, когда в точном смысле слова задумаемся — тогда книги Платонова и будут прочитаны наконец как книги о неповторяющейся нашей истории.

Маризта ЧУДАКОВА.

Андрей Платонов СТРАННИКИ

Митя ходил каждый день в лавку за хлебом по тихой улице, где уже кончался город и начиналось поле.

Ходить было далеко и жарко, а хорошо — было видно поле и дорога, и по ней шли странники. В сердце поднималось томление, хотелось ему уйти, куда уходят каждый день люди с сумками и никогда не приходят домой.

Хлеб брали в долг — и Митя ходил с книжкой, где лавочник Петр Васильевич писал карандашиком: узето хе 8 ко.— Взято хлеба на 8 копеек, догадывался Митя.

Когда шел он с хлебом домой, то садился на камень у заставы и глядел. Скоро будет 12 часов: загудит гудок, и отец придет обедать, а Митя сидел и думал.

Поле было большое и тихое, и сейчас никто не шел по дороге, все прошли и скрылись за лесом.

Солнце горело, как костер, и не было ни ветра, ни тихого разговора на дороге.

Пыльная лебеда росла на канаве и внизу, у корешков, у комочков, по бугоркам лазили муравьи и спали божьи коровки.

Митя думал, куда идут дороги и где конец света. Он давно узнал, что и поле, и леса, и странники — днем как сонные, только ночью начинают жить по-настоящему и шепчутся по вечерам.

Вечером он уходил к ребятам к Степанихе на огород. По зава-линкам пели сверчки, и кто-то сидел и молчал в кустах.

Они сидели под плетнем и слушали, как носятся и поют комарики над головами.

Митя залезал на плетень, и опять было видно поле. Теперь там было темно и ходили там звезды. Оттуда был слышен шум, будто вышли из лесов и оврагов странники и уходили толпою по дороге в другой город.

Днем Митя дрался и играл, а вечером начинал любить и жалеть всех.

Больше всего он любил, чего никогда не видел, дальние неизвестные края, куда хотелось уйти и куда уходили нищие и богомольцы после зори, когда бывает прохладно и тихо.

Небо, плетни и шептавшиеся поля, где ходят и ищут люди по ночам, моргающая звезда звали Митю на дорогу идти до утра, встретить, чего никто не видал.

Он знал, что собаки дохнут и их бросают в канаву. Издох Волчек зимой, и его не нашел больше Митя.

Так было нельзя.

И Митя думал, что странники уходят в другую землю, на конец света, где солнце светит днем и ночью, как большой костер, и кругом его сидят радостные тихие странники и Волчек, а вокруг сторожами ходят звезды.

ТАМ, ГДЕ ОГОНЬ И ЖЕЛЕЗО. В МАСТЕРСКИХ

1. Электропоезд

— Стратоныч, давай поужем! — Давай.

И мы жевали картошку с требухой.

— Нады стою я в очереди — гундосил Стратоныч. — Аж до 12 стоял, ждали все требующего начальника. Ах, гречи!

— Ну, пойдём, попробуем мотор.

И мы пошли.

— Давай! — Закричал Стратоныч. — Легче, легче, ремень заматаешь! Нельзя так. Стоп!

Я выключил.

— Легче давай, помаленьку!

Мотор пошел, и ремни заплывали.

— Вот! Не спеша надо, а то ты рвешь.

Перед гудком мы разговорились:

— А что, Стратоныч, давай ребят подговорим, электропоезд сделаем, как я тебе говорил в Петрограде сделали. Вечером по 2 бы часа после гудка оставались, а воскресенье — напролет. Как думаешь?

— А! Так что ж? Давай! Завтра же ребят подговорим.

— Ну-да. Вагоны нам дадут, а остальное мы сами обдумаем. Мы его попроче загоним. Движенсья тогда к Ростову, станем на моторах с тобой.

— Обдумать это надо. Приходи-ка ко мне вечером чертежи планировать.

— Ладно. Я уж почти обдумал. У нас будут свои аккумуляторы...

И мы начали обдумывать по вечерам. Ребята все согласились.

Мы со Стратонычем думали за всех.

2. Бог

— Горит же вот! Поди ж ты! Ведь надо же обдумать. Солнцу сто очков дает.

И Черепендик в удивлении задумался, он был чернорабочий — колеса катал — и удивлялся всему на свете и всех любил от удивления.

Электрическую лампочку он особо уважал: самая удивительная вещь.

— А чудочек тепленькая, ишь!

И он поласкал ее ладонью:

— Светлые чудеса... А машины-то, машины! Скажи, Степ, на милость, откуда сила только берется, чудовень такая стоит... А огонь-то, огонек-то, как замер, и не дышит будто...

Черепендик работал неделю, а раньше жил в деревне и от голода прибежал в город. Он был маленький и добрый человек.

— Ему бы не работать, а черепендиками торговать, — сказал раз один токарь. Так его и прозвали: вылитый черепендик он и был.

Увидел он машины в первый раз, испугался, переменялся весь и, говорят, молиться стал на них, а прежнего бога позабыл: в нем силы — голосу нет, видимости никакой, — говорил Черепендик.

Через месяц ему отмяло ногу, и он долго пролежал в больнице, а потом ушел на деревню с проповедью, что всякая машина есть бог и чудотворец.

Публикация
М. А. ПЛАТОНОВОЙ.

Как сообщила нам М. А. Платонова, в 14 часов 1 сентября, в день рождения ее отца, состоится торжественное открытие мемориальной доски на доме номер 25, что на Тверском бульваре. Здесь в течение 20 лет жил и работал Андрей Платонов. Мария Андреевна отобрала для «Труда» рассказы, опубликованные в 1920 году и с тех пор не печатавшиеся.